

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ISSN 0131-6044
9 770131 604002 >

РОМАН ГАЗЕТА

2026 №11

Теффи / Книга Июнь





Тэффи

Надежда Александровна Лохвицкая (Тэффи) родилась в 1872 году в Волынской губернии, в имении своего отца, известного юриста. Писать начала в ранней юности, но замужество и рождение троих детей прервали ее литературную работу. Однако к 1900 году она расходится с мужем и, переехав из Могилева в Петербург, на всю жизнь становится профессиональным литератором.

Тэффи активно выступает в многочисленных периодических изданиях со стихами, рассказами, фельетонами. С 1908 года она ведущий сотрудник основанного А. Аверченко журнала «Сатирикон», печатается в «Русском слове», «Ниве», «Руси», «Театре и искусстве», а также в большевистских изданиях «Новая жизнь» и «Звезда» (впрочем, «революционность» Тэффи не выходит за рамки общегуманистических идей). Чрезвычайно популярная в дореволюционной России, писательница не примыкает ни к одному из литературных кружков и направлений, но на восхищении ее талантом сходятся люди самых разных политических взглядов и литературных вкусов.

Первая книга Тэффи — поэтический сборник «Семь огней» (1901). В 1910–1911 годах выходит двухтомник «Юмористических рассказов» (до 1917 года выдержал более десяти переизданий), следом — сборники «И стало так...» (1912), «Карусель» (1913), «Дым без огня» (1914). Знаменитым «детским циклом» стала книга «Неживой зверь» (1916), к кото-

рой тематически и интонационно примкнули «невеселые», по определению самой Тэффи, сборники «Книга Июнь» (1931), «О нежности» (1938), «Земная радуга» (1952). В этом же ряду замечательные рассказы о животных.

После закрытия «Русского слова» в 1918 году Тэффи перебирается из Питера в Москву, отсюда выезжает для чтения лекций в Киев, но из-за Гражданской войны обратный путь окажется для нее невозможен. Как результат — пожизненная эмиграция.

В предвоенной Европе Тэффи становится самой популярной среди литераторов русской диаспоры. Всеобщей любимицей она была и в русских колониях Шанхая и Харбина. Два десятка ее новых сборников выходят в Стокгольме и Берлине, Париже и Нью-Йорке: «Черный ирис», «Сокровищница земли», «Тихая заводь», «Рысь», «Городок», «Ведьма», «Всё о любви», а также «Авантюрный роман», воспоминания, пьесы, статьи, фельетоны... В эмиграции Тэффи ведет большую общественную и благотворительную работу, организовала литературный салон, возглавляла различные клубы, комиссии, фонды. Умерла Н. А. Тэффи 6 октября 1952 года в Париже.

О русском языке

Н. Тэффи

Очень много писалось о том, что надо беречь русский язык, обращаться с ним осторожно, не портить, не искажать, не вводить новшества.

Призыв этот действует. Все стараются. Многие теперь только и делают, что берегут русский язык. Прислушиваются, поправляют и учат.

— Как вы сказали? «Семь раз примерь, а один отрежь»? Это абсолютно неправильно! Раз человек меряет семь раз, то ясно, что вид надо употребить многократный. Семь раз при-ме-ри-вай, а не примерь.

— Что? — возмущается другой. — Вы сказали — «вынь да по-

ложь»? Что это за «положь»? От глагола «положить» повелительное наклонение будет «положи», а не «положь». Как можно так портить язык, который мы должны беречь, как зеницу ока!

— Как вы сказали? Надеюсь, я ослышался. Вы сказали: «я иду за вином»? Значит, вино идет впереди вас, а вы за ним следуете? Иначе вы бы сказали: «я иду по вино». Как говорят — «я иду по воду», — и так и следует говорить.

Давят, сушат, душат!

Думал ли кто-нибудь, живя в России, правильно ли он говорит? Приходило ли кому-нибудь в голову со-

мневаться в законности своего произношения или оборота фразы?

Огромная Россия сочетала сотни наречий, тысячи акцентов. Каждая губерния, каждый уезд окали, цокали, гакали по-своему. Тот сухой академический язык, который рекомендуется нам сейчас, существовал лишь в литературе, когда автор вел речь от себя, потому что как только начинал писать языком живым, на котором люди говорят, сейчас перед читателем выявлялась личность, от которой слова шли. Под безличным, гладким литературным языком автор прячется, отрекается от себя, говорит «объективно».

«Чуден Днепр при тихой погоде»...

Это не значит: «я нахожу, что Днепр чуден». Это значит, что он чуден, и этот факт я сообщаю.

Окончание см. на 3 стр. обложки.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

Редакционная
коллегия:

Дмитрий Белюкин
Алексей Варламов
Владимир Личутин
Юрий Поляков

Ответственный
редактор

Елена Русакова

В оформлении
обложки

использованы
фрагменты картин
Нatalьи Гончаровой

Права
на использование
товарного знака

«Роман-газета»
принадлежат

ООО «Роман-газета»

© ООО «Роман-газета», 2026
Все права защищены

Журнал зарегистрирован
в Министерстве связи
и массовых коммуникаций РФ.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-68350
от 30.12.2016 г.

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
roman-gazeta-1927@yandex.ru

Подписные
индексы издания:

в объединенном

каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2026 № 11 /2000/ Основана в 1927 г.

Тэффи

Книга Июнь

КНИГА ИЮНЬ

Огромный помещичий дом, большая семья, простор светлого крепкого воздуха, после тихой петербургской квартиры, душно набитой коврами и мебелью, сразу утомили Катю, приехавшую на поправку после долгой болезни.

Сама хозяйка, Катина тетка, была глуховата, и поэтому весь дом кричал. Высокие комнаты гудели, собаки лаяли, кошки мяукали, деревенская прислуга гремела тарелками, дети ревели и ссорились.

Детей было четверо: пятнадцатилетний гимназист Вася, ябедник и задира, и две девочки, взятые на лето из института. Старшего сына, Гриши, Катиного ровесника, дома не было. Он гостил у товарища в Новгороде и должен был скоро приехать.

О Грише часто разговаривали, и, видимо, он в доме был героем и любимцем.

Глава семьи, дядя Тема, круглый с седыми усами, похожий на огромного кота, шурился, жмурился и подшучивал над Катей.

— Что, индюшонок, скучаешь? Вот погоди, приедет Гришенька, он тебе голову скрутит.

— Подумаешь! — кричала тетка (как все глухие, она кричала громче всех). — Подумаешь! Катенька — петербургская, удивят ее новгородские гимназисты. Катенька, за вами, наверное, масса кавалеров ухаживают? Ну-ка, признавайтесь!

Тетка подмигивала всем, и Катя, понимая, что над ней смеются, улыбалась дрожащими губами.

Кузины Маня и Любочка встретили приветливо, с благоговением осматривали ее гардероб: голубую матроску, парадное пикейное платье и белые блузки.

— Ах-ах! — механически повторяла одиннадцатилетняя Любочка.

— Я люблю петербургские туалеты, — говорила Маня.

— Все блеснит, словно шелк! — подхватывала Любочка.

Водили Катю гулять. Показывали за садом густо заросшую незабудками болотную речку, где утонул теленок.

— Засосало его подводное болото и косточки не выкинуло. Нам там купаться не позволяют.

Качали Катю на качелях. Но потом, когда Катя перестала быть «новенькой», отношение быстро изменилось, и девочки стали даже потихоньку над ней подхихикивать. Вася тоже как будто вышучивал ее, выдумывал какую-то ерунду. Вдруг подойдет, расшаркает и спросит:

— Мадмазель Катрин, не будете ли добры точно изъяснить мне, как по-французски буерак?

Все было скучно, неприятно и утомительно.

«Как все у них некрасиво», — думала Катя.

Ели карасей в сметане, пироги с налимом, поросля. Все такое не похожее на деликатные сухенькие крылышки рябчика, там, дома.

Горничные ходили доить коров. На зов отвечали «чаво».

Прислуживавшая за столом огромная девка с черными усами похожа была на солдата, напаялившего женскую кофту. Катя с изумлением узнала, что этому чудовищу всего восемнадцать лет...

Была радость уходить в палисадник с книжкой А. Толстого в тисненном переплете. И вслух читать:

Ты не его в нем видишь совершенства
И не собой тебя прельстить он мог,
Лишь тайных дум, мучений и блаженства
Он для тебя отысканный предлог.

И каждый раз слова «мучений и блаженства» захватывали дух и сладко хотелось плакать.

— А-у! — кричали из дома. — Катю-у! Чай пи-ить!

А дома опять крик, звон, гул. Веселые собаки бьют по коленам твердыми хвостами, кошка вспрыгивает на стол и, повернувшись задом, мажет хвостом по лицу. Всё хвосты да морды...

Незадолго перед Ивановым днем вернулся Гриша.

Кати не было дома, когда он приехал. Проходя по столовой, она увидела в окно Васю, который разговаривал с высоким, длинноносым мальчиком в белом кителе.

— Тут тетя Женя кузину привезла, — рассказывал Вася.

— Ну, и что же она? — спросил мальчик.

— Так... Дура голубоватая.

Катя быстро отошла от окна.

— Голубоватая. Может быть, «глуповатая»? Голубоватая... как странно...

Вышла во двор.

Длинноносый Гриша весело поздоровался, поднялся на крыльцо, посмотрел на нее через оконное стекло, прищурил глаза и сделал вид, что закручивает усы.

«Дурак!» — подумала Катя. Вздохнула и пошла в сад.

За обедом Гриша вел себя шумно. Все время падал на Варвару, усатую девку, что она не умеет слушать.

— Ты бы замолчал, — сказал дядя Тема. — Смотри-ка, нос у тебя еще больше вырос.

А задира Вася продекламировал нараспев:

Нос огромный, нос ужасный,
Ты вместил в свои концы
И посадки, и деревни,
И плакаты, и дворцы.

— Такие большие парни, и всё ссорятся, — кричала тетка.

И, повернувшись к тете Жене, рассказала:

— Два года тому назад взяла их с собой во Псков. Пусть, думаю, мальчики посмотрят древний город. Утром рано пошла по делам и говорю им: вы позвоните, велите кофе подать, а потом бегите, город осмотрите. Я к обеду вернусь. Возвратилась в два часа. Что такое? Шторы, как были, спущены, и оба в постели лежат. Что, говорю, с вами? Чего вы лежите-то? Кофе пили? «Нет». Чего же вы? «Да этот болван не хочет позвонить». А ты-то отчего сам не позвонишь? «Да вот еще! С какой стати? Он будет лежать, а я изволь бегать, как мальчишка на побегушках». — «А я с какой стати обязан для него стараться?» Так ведь и пролежали два болвана до самого обеда.

Дни шли все такие же шумные. С приездом Гриши стало, пожалуй, еще больше криков и споров.

Вася все время считал себя чем-то обиженным и всех язвил.

Как-то за обедом дядя Тема, обожавший в молодости Александра Второго, показал Кате свои огромные золотые часы, под крышкой которых была вставлена миниатюра императора и императрицы. И рассказал, как нарочно ездил в Петербург, чтобы как-нибудь повидать государя.

— Небось на меня бы посмотреть не поехал, — обиженно проворчал Вася.

Гриша все больше и больше возмущался усатой Варварой.

— Когда она утром стучит в мою дверь ланитами, у меня потом весь день нервы расстроены.

— Ха-ха! — визжал Вася. — Ланитами! Он хочет сказать — дланями.

— Это не горничная, а мужик. Объявляю раз навсегда: не желаю просыпаться, когда она меня будит. И баста.

— Это он злится, что Паше отказали, — кричал Вася. — Паша была хорошенькая.

Гриша вскочил, красный как свекла.

— Простите, — повернулся он к родителям, указывая на Васю. — Но сидеть за одним столом с этим вашим родственником я не могу.

На Катю он не обращал никакого внимания. Раз только, встретив ее у калитки с книгой в руках, спросил:

— Что изволите почитать?

И, не дожидаясь ответа, ушел.

А проходившая мимо Варвара, ощерившись как злая кошка, сказала, глядя Кате в лицо побелевшими глазами:

— А питерские барышни, видно, тоже хорошеньких любят.

Катя не поняла этих слов, но глаз Варвариных испугалась.

В тот вечер, засидевшись долго с тетей Женей, приготавливавшей печенье к Артемьеву дню, к имени-

нам дядя Темы, вышла Катя во двор взглянуть на луну. Внизу, у освещенного окошка флигеля, увидела она Варвару. Варвара стояла на полене, очевидно, нарочно ею принесенном, и смотрела в окно.

Услышав Катины шаги, махнула рукой и зашептала:

— Иди-ка-т сюды.

Подхватила под руку, помогла встать на бревно.

— Вон, смотри.

Катя увидела Васю на диванчике. Он спал. На полу, на сеннике, лежал Гриша и, низко свесив голову, читал книгу, подсунув ее под свечку.

— Чего же вы смотрите? — удивлялась Катя.

— Тссс... — цыкнула Варвара.

Лицо у нее было тупое, напряженное, рот открыт внимательно и как бы недоуменно. Глаза устремлены недвижно.

Катя высвободила руку и ушла. Какая она странная!

В Артемьев день наехали гости, купцы, помещик. Приехал игумен, огромный, широколобый, похожий на васнецовского богатыря. Приехал на беговых дрожках и за обедом говорил всё о посевах да о сенокосах, а дядя Тема хвалил его, какой он замечательный хозяин.

— Какие погоды стоят! — говорил игумен. — Какие луга! Какие поля! Июнь. Еду, смотрю, и словно раскрывается предо мною книга тайн несказанных... Июнь.

Кате понравились слова о книге. Она долго смотрела на игумена и ждала. Но он говорил уже только о покупке рощи и кормовых травах.

Вечером, в ситцевом халатике сидела Катя перед зеркалом, зажгла свечку, рассматривала свое худенькое веснушчатое личико.

«Скучная я, — думала она. — Все-то мне скучно, все-то скучно».

Вспомнилось обидевшее слово.

«Голубоватая. Правда — голубоватая».

Вздыхнула.

«Завтра Иванов день. В монастырь поедем».

В доме еще не спали. Слышно было, как за стеной в бильярдной Гриша катает шары.

Вдруг дверь распахнулась и вихрем влетела Варвара, красная, оскаленная, возбужденная.

— А ты чаво не спишь? Чаво ждешь... Чаво такого? А? Вот я тя уложу. Я тя живо уложу.

Она схватила Катю в охапку и, быстро перебирая пальцами по худеньким ребрышкам, щекотала и хотала и приговаривала:

— Чаво не спишь? Чаво такого не спишь?

Катя задыхалась, визжала, отбивалась, но сильные руки держали ее, перебирали, поворачивали.

— Пусти! Я умру-у. Пусти...

Сердце колотилось, дыхание перехватывало, все тело ричало, билось и корчилось.

И вдруг, увидев ощеренные зубы Варвары, ее побелевшие глаза, поняла, что та не шутит, и не играет, а мучает, убивает и остановиться не может.

— Гриша! Гриша! — отчаянным воплем закричала она.

И тотчас Варвара отпустила ее. В дверях стоял Гриша.

— Пошла вон, дура. Что ты, с ума сошла?

— Что уж, и поиграть нельзя... — вяло протянула Варвара и вся словно опустилась — лицо, руки — и, пошатываясь, пошла из комнаты.

— Гриша! Гриша! — опять закричала Катя.

Она сама не понимала, отчего кричит. Какой-то клубок давил горло и заставлял кричать с визгом, с хрипом все это последнее слово:

— Гриша!

И, визжа и дергая ногами, потянулась к нему, ища защиты, обняла за шею и, прижавшись лицом к его щеке, все повторяла:

— Гриша, Гриша!

Он усадил ее на диван, встал рядом на колени, тихонько гладил плечи в ситцевом халатике.

Она взглянула ему в лицо, увидела смущенные, растерянные глаза и заплакала еще сильнее.

— Ты добрый, Гриша. Ты добрый.

Гриша повернул голову и, найдя губами эту крепко обнимавшую его тоненькую руку, робко поцеловал на сгибе у локтя.

Катя притихла. Странное тепло Гришиных губ... Она замерла и слушала, как тепло это поплыло под кожей, сладким звоном прозвенело в ушах и, тяжело налив веки, закрыло ей глаза.

Тогда она сама приложила руку к его губам, тем самым местом на сгибе, и он снова поцеловал ее. И снова Катя слышала сладкий звон и тепло и блаженную тяжелую слабость, которая закрыла ей глаза.

— Вы, Катенька, не бойтесь, — прерывающимся голосом говорил Гриша. — Она не посмеет вернуться. Если хотите — я посижу в бильярдной... закройте дверь на задвижку.

Лицо у него было доброе и виноватое. И поперек лба вспухнула жилка. И от виноватых его глаз стало почему-то страшно.

— Идите, Гриша, идите!

Он испуганно взглянул на нее и встал.

— Идите!

Толкнула его к двери. Шелкнула задвижкой.

— Боже мой! Боже мой! Как это все ужасно...

Подняла руку и осторожно дотронулась губами до того места, где целовал Гриша. Шелковистый, ванильный, теплый вкус...

И замерла, задрожала, застонала.

— О-о-о! Как же теперь жить? Господи, помоги мне!

Свеча на столе оплыла, догорела, колыхала черным огонь.

— Господи, помоги мне! Грешная я.

Катя встала лицом к темному квадрату образа и сложила руки.

— Отче наш, иже еси...

Это не те слова... Не знала она слов, какими можно сказать Богу то, чего не понимаешь, и просить того, чего не знаешь...

Крепко зажмурив глаза, крестилась:

— Господи, прости меня...

И опять казалось, что не те слова...

Свеча погасла, но от этого в комнате показалось светлее.

Белая ночь шла к рассвету.

— Господи, Господи, — повторяла Катя и толкнула дверь в сад. Не смела пошевелиться. Боялась стукнуть каблуком, зашуршать платьем — такая неслезанная голубая серебристая тишина была на земле. Так затихли и так молчали недвижимые пышные купы деревьев, как молчать и затихнуть могут только живые существа, чувствующие.

«Что здесь делается? Что только здесь делается? — в каком-то даже ужасе думала Катя. — Ничего этого я не знала».

Все словно изнемогало — и эти пышные купы, и свет невидимый, и воздух недвижимый, все переполнено было какой-то чрезмерностью могучей и неодолимой и непознаваемой, для которой нет органа в чувствах и слова на языке человеческом.

Тихая и все же слишком неожиданно громкая трель в воздухе заставила ее вздрогнуть. Крупная, мелкая, неведомо откуда лилась, сыпалась, отскакивала серебряными горошинками... Оборвалась...

— Соловей?

И еще тише и напряженнее стало после этого «их» голоса.

Да «они» были все вместе, все заодно. Только маленькое человеческое существо, восхищенное до ужаса, было совсем чужое. Все «они» что-то знали. Это маленькое человеческое существо только думало.

— Июнь, — вспомнилась книга тайн неслезанных. — Июнь...

И в тоске металась маленькая душа.

— Господи! Господи! Страшно на свете Твоем. Как же быть мне? И что оно, это, все это?

И все искала слов, и все думала, что слова решат и успокоят.

Охватила руками худенькие плечи свои, словно не сама, словно хотела спасти, сохранить вверенное ей хрупкое тельце и увести из хаоса охлынувших его звериных и божеских тайн.

И, опустив голову, сказала в покорном отчаянии те единственные слова, которые единственны для всех душ и великих и малых, и слепых и мудрых...

— Господи, — сказала, — Имя Твое да святится... И да будет воля Твоя...

СЕРДЦЕ ВАЛЬКИРИИ

В доме номер сорок три — событие. Умер мосье Витру.

Многие, которым эта печальная весть сообщалась, не сразу понимали, о ком идет речь: мосье Витру никогда при жизни своей «мосье Витру» не назывался.

Называли его «консьержкин муж». А иногда и просто по сущности его персоны: «этот пьяница», «этот бездельник». Потому что говорили о нем всегда недовольным тоном.

Поступков у мосье Витру никаких не было. Были только проступки. Не преступления, конечно, а именно проступки.

Он забывал натопить печь центрального отопления или, наоборот, в теплую погоду нажаривал так, что дышать было нечем. Он забывал подавать утреннюю почту или путал газеты и письма, а потом тыкался по квартирам и отбирал в уже распечатанном «по ошибке» виде.

После всех этих недоразумений забирался в бистро и просиживал там несколько дней подряд.

Puisqu'on est toujours mécontent¹.

Внешность у него была непочтенная. Квадратный, красный. Выражение лица сконфуженное, потому что встречался с людьми или по дороге в бистро, или возвращаясь оттуда, а на этом пути торжествовать особенно нечего.

Все жалели консьержку, красивую, сдержанно-приветливую, с нарядно седеющими волосами.

— Она на него работает. Уж скорей бы умер, старый пьяница.

Она не жаловалась и не ссорилась с ним, презирая его молча и брезгливо до отвращения. Терпела его, как терпят шелудивую собачонку, которую противно прикончить.

И вот он заболел. Очень быстро из красного, квадратного обратился в худощавого, белого.

Сидел за дверью и уже не конфузился, а смотрел с упреком.

Потом слег.

— Теперь завалился хворать, — осуждали его в доме номер сорок три.

— Получает то, что заслужил, — говорили в доме номер сорок пять, где помещалось бистро.

И вот он умер.

Умер на рассвете, так что первые узнали об этом фам де менаж² и понесли вместе с молоком и булками по всем этажам.

Стали собираться группами около булочной, в мясной, в лавчонке итальянца, раскачивали сетками с провизией, ежились в вязаных платках.

¹ Потому что они всегда недовольны (*фр.*).

² Домработницы (от *фр.* *Femme de ménage*).

— Умер муж консьержки из сорок третьего номера. Мосье Витру.

И сипели по-гусиному:

— Хххх-о, — выражая удивление и сочувствие.

Пугала своей необычностью фраза:

— Мосье Витру умер.

Слова «мосье Витру» вместо «консьержкин пьяница» приглашали признать его за человека, имеющего, как все прочие, собственное свое имя, а не ругательное определение проступков. И об этом человеке сообщалось, что свершил он нечто значительное и даже торжественное: он умер.

— Хххх-о!

Вот на какой поступок он оказался способным!

Жильцы дома номер сорок три притихли. Осторожно прикрывали входную дверь и быстро шмыгали на лестницу, косясь на окно консьержки.

Актриса из третьего этажа — фарсовая, но с трагическим характером, — всегда мучающаяся, что ее обошли ролью, и тут, в смерти Витру, почувствовала себя как бы обойденной. Она очень бы удивилась, если бы ей кто-нибудь объяснил, что ее подавленное настроение происходит от зависти к консьержкиному мужу, что ей неприятно то центральное место в умах жильцов дома номер сорок три, которое ему сейчас отводится. Вечером она сумела найти выход и разрядить нервы. Друг принес ей корзину орхидей, и она велела сейчас же отнести цветы на гроб бедного мосье Витру.

И когда друг, обиженно поджав губы, медленно нес вниз по лестнице пышный свой дар, и встречные дамы благоговейно посторонились, актриса, переверсившись через перила, быстро и весело притопнула каблучками. В комнате консьержки будут ахать, и сипеть, и удивляться. Да, в этой пьесе у нее нашлась красивая роль.

Сладкий, тошный запах хлора и формалина поднялся по лестнице, вошел в щели дверей, в мысли, в сны.

У старика из четвертого этажа сделался припадок астмы, и он заставил дочь до утра играть с ним в карты.

Актриса из третьего долго не отпускала своего друга. Она предчувствовала, что скоро, очень скоро умрет, и кротко улыбалась, закрывая глаза.

Две старухи из первого этажа до глубокой ночи бродили по комнатам и пугались друг друга.

Дети во втором плакали и не позволяли гасить лампу.

Утром сын консьержки разнес по квартирам приглашение на похороны. Огромный лист с черной каймой. Он лег на подушку старика с астмой, на кружевной столик актрисы, на комод двух старух, на чайную скатерть во втором этаже, и всюду задрожали над ним ресницы и остановились глаза.

Консьержка, мадам Витру, в первый раз увидела имя своего мужа торжественно напечатанным, на

почетном месте. Первый раз совершил он общепринятый буржуазный, вполне почтенный поступок, который возбудил у всех интерес и даже благоговение. О нем говорят, о нем спрашивают, о нем думают во всех пяти этажах, и в доме рядом, и в доме напротив, и в булочной, и на углу.

Он — мосье Витру. Его женой сейчас быть почетно. В первый раз она его, а не он ее. Она его вдова, а не он «муж консьержки». И кюре, с которым она говорила об отпевании, утешая, сказал: «не плачьте, но думайте о том, что скоро с ним встретитесь». Этими словами и кюре признавал как бы заслугу мосье Витру, как бы высшее его в сравнении с нею положение.

И те нечестивые думы, которые раздражали ее, когда она поняла, что муж умирает, — она отогнала прочь. Думы о том, что умирает он слишком поздно, когда она уже стара, что, будь это лет пятнадцать тому назад, когда вдовец-водопроводчик так сильно заинтересовался канализацией в их доме, что по два раза в день приходил проверять краны, — тогда было бы дело другое. У водопроводчика теперь собственная мастерская в Руане...

Но после смерти Витру, когда жизнь приняла такой торжественный оборот, она забыла о водопроводчике.

Запах хлора и формалина углублялся, расширялся, гудел глубоким аккордом.

Теперь страшные слова «мосье Витру умер» жили, и вся обычная жизнь перед ними умирала. У слов этих был теперь звук, шестисложный, понижающийся в тоне напев. У них был цвет — широкая черная полоса на белом и был запах — этот страшный, тягучий и сладкий дух. Жильцы дома номер сорок три не хотели есть, не могли спать, читать, разговаривать. Они умирали от звука, от цвета, от запаха «мосье Витру умер».

Похороны вышли торжественные. Жильцы купили в складчину цветов — два огромных венка из иммортелей, намекавших на земное бессмертие, на незабвенность старого консьержа. А на почетном месте — в головах гроба — ядовито-развратные и жадные, дрожали орхидеи, существа из другого мира, пожаловавшие сюда, в среду мешанских розовых гвоздик, как очаровательная дама-патронесса спускается в подвал, чтобы навестить больную прачку.

Вдова Витру стояла впереди всех, но полуобернувшись к гробу, через траурную вуаль видела, как торжественно и печально слушает толпа молящихся «De Profundis».

И многие плачут.

У старика из четвертого этажа голова тряслась отрицательно, точно он не одобрял этой затеи старого консьержа. Ему хотелось спать, но он прилепился, потому что ему казалось, что он этим как-то откупится от того противного и страшного, что вошло в дом.

Рядом горько плакала его дочь, думая о том, что уже никогда не выйдет замуж, что старик загрыз ее, а сам живет в полное свое удовольствие, заставляет в шесть часов утра варить кофе и выдумывает астму.

Плакала напудренная сиреневой пудрой актриса из третьего этажа. Она представляла себе, что она сама лежит в гробу, и как бы дублировала консьержа в его великолепной центральной роли.

— Цветы и слезы, — шептала она. — Цветы и слезы, а нам, покойникам, уже ничего не нужно.

Всплакнули старушонки из первого этажа. Они вообще бегали на все похороны, потому что это было для них самое интересное бытовое явление, так сказать — к вопросу дня.

Вдова Витру видела всю эту печаль и благоговение перед ее мужем, слышала никому не понятные, таинственные и мудрые латинские слова, которые говорил кюре ему, мосье Витру. И когда церковный швейцар, дирижируя парадом, стукнул булавой и стал медленно, очередью, пропускать присутствующих для выражения соболезнования, и десятки рук протянулись к ней и к ее коренастым сыновьям Пьеру и Жюлю, чтобы пожать их руки в черных фильдекосовых перчатках, новых и скрипучих, — она вдруг заплакала, громко, искренне и горько.

Она плакала о своем муже, величественном и гордом, увенчанном бессмертными цветами, о «мосье Витру», перед которым все так благоговейно склоняются и благодаря которому так почтительно жмут ее фильдекосовую руку. Она плакала о мосье Витру, гордилась им и любила его.

И когда после похорон набившиеся в ее тесную квартирку родственники отдыхали и закусывали со вздохами, но и с аппетитом — что, мол, поделаешь, он ушел в лучший мир, а мы должны все-таки питаться, чтобы подольше продержаться в этом, худшем... — тогда вдова Витру, наливая кофе, сказала:

— Мой бедный Андре часто говаривал: «кофе надо пить очень горячий и с коньяком».

Изречение было не бог весть какой мудрости, но произнесла она его тем тоном сдержанного пророческого пафоса, каким повторяют исторические слова великих людей.

И слушатели так и приняли его. Они многозначительно помолчали и глубоко вздохнули. И кому-то недослышавшему повторили с благоговением.

ОХОТА

П.А.Т.

Вечером пришел из деревни синеглазый Антонио Франческо — они на Корсике все либо Антонио, либо Франческо, а этот оба сразу — и сказал, что охоту нам наладил.

Кроме меня и Дора, пойдут еще двое охотников. Кабан выслежен. Сбор в деревне на следующую ночь, в два часа. Ослы и собаки приготовлены, провизии брать на сутки.

— Хорошо, — сказал Дор. — Достаньте завтра ружья. В два часа мы придем.

И только! Точно его на блины приглашали. Нужно же было расспросить, в чем идти, далеко ли ехать, спокойные ли ослы, свирепый ли кабан, тяжелое ли ружье.

Ведь это же, действительно, не пустяк, такая история!

Сама я ни о чем спросить не решалась, потому что так как-то вышло, будто я и есть самый заправский охотник. Я всю эту кашу и заварила, а Дор только не протестовал.

— Вы ведь любите охоту? — спрашивала я.

— Когда-то был страстным охотником, — отвечал он нехотя. — Потом бросил.

— Почему?

— Так... Заяц на меня посмотрел. Подстреленный. С тех пор я бросил.

— А как же завтра?

— Завтра?.. Ну, конечно, если кабан на меня выйдет — уложу его. Иначе что же бы это за охота была.

— Вполне вас понимаю, — отвечала я, мрачно сдвигая брови. — Я тоже уложу.

На душе у меня было скверно.

Что касается провизии — это дело было для меня вполне ясно и даже приятно. Встать к двум часам ночи было уже хуже. Все остальное — сплошной мрак.

Есть нечто, в чем ни за что не признаюсь: боюсь лезть на осла. Как представляю себе, что он теплый и шевелится, — ведь ерунда это, а страшно. Если бы он еще не двигался, а ведь он зашевелит лопатками, а на лопатках я.

И еще второй ужас — стрельба. Стреляла я только один раз в жизни, и вышло это очень странно. На foire de Paris¹ зашла в тир. Стреляли там солдаты, человек семь, и прескверно — все мимо.

Вдруг хозяйка с любезной улыбкой протянула ружье мне. Я машинально взяла, приложила не к тому плечу, к какому полагается, закрыла не тот глаз, какой нужно, и под громкое ржанье солдат выстрелила. И произошло нечто совершенно неожиданное: фигурка, в которую я целила, вдруг затрещала и завертелась, точно кто-то попал в нее. Кто? Я растерянно оглянулась.

— Mais c'est vous, madame!² — выпучила на меня глаза хозяйка и снова сует мне ружье.

Восторгу солдат не было предела. Они хлопали себя по бедрам. Один даже присел и завертелся волчком.

¹ парижской ярмарке (фр.).

² Но это вы, мадам! (фр.)

Я, растерянная, испуганная, схватила ружье. Опять так же по-идиотски не тем боком, не тем глазом.

Бах! Бах! Бах! Из пяти раз попала четыре.

Солдаты притихли и в благоговейном молчании пропустили меня к выходу.

Как все это вышло — сама не понимаю. И что это значит? Значит ли, что я умею стрелять?

Но рассказывать об этой истории было бы неосторожно.

Дор может сказать:

«Ах, так вот вы какой охотник! Нет, уж вы лучше посидите дома, с вами еще в беду попадешь».

Лучше помалкивать.

Но вот как одеться? Понятия не имею.

Спросила хитро:

— А вы в чем пойдете?

Как будто о себе-то уже все давно знаю, а только, мол, в нем не уверена.

— Да хотя бы в этом самом костюме.

Удивительно! Белые брюки, белые башмаки, синий пиджак — пляж Ниццы и Биарицца. Странно.

Тут уж я рискнула:

— А мне, по-вашему, что надеть? Я ведь не знаю условий корсиканской охоты.

(Вот как тонко. Только, мол, «корсиканской» не знаю. Молодчина я!)

— Да надевайте что не жалко.

Удивительно хладнокровный человек.

«Что не жалко». Легко сказать!

Мне вот прошлогоднего муслинового платья не жалко. Так ведь не надевать же его!

Дальше советоваться было опасно. Вспомнила, к счастью, что в нашем же отеле живет бывший учитель географии Зябликов, родная русская душа, в синевом галстухе. Он все знает.

— Тук-тук! Monsieur Ziablikoff!¹

Ну, конечно, он все знает. Необходима короткая клетчатая юбка.

— Милый, спасибо! Спасибо! Никогда не забуду!

— Всегда к вашим услугам.

Бегу в деревню, покупаю в лавчонке, где колбаса, и уголь, и шоколад, и керосин, жуткую клетчатую «шотландку», бегу домой и, дрожа от усердия и спешки, шью небывалую юбку.

А какую шляпу?

Бегу к Зябликову.

— Можно на кабана белый фетр?

Молодец Зябликов, все знает. Фетр, оказывается, можно, всякий, кроме желтого. Почему? Но все равно — расспрашивать некогда. А серьги? Я привыкла к серьгам.

— Cher Ziablikoff!² Простите... Можно на кабана надеть серьги?

Он не сразу понимает и смотрит с ужасом.

...Спала плохо, да и некогда было. До трех часов все укорачивала юбку. Укорочу, сяду, для примера, верхом на стул и опять укорачиваю.

Вышло очень недурно. Coupe élégante³. Немного кривобокая, ну да в зарослях незаметно.

К вечеру Антонио Франческо принес ружье. Ну и тяжесть!

Дор пошел в горы, наметил цель, отошел далеко-далеко и — бах, бах, бах — всадил пять пуль одну в одну.

— Ничего, не забыл! А вы не попробуете?

Мне пробовать не захотелось...

Не отказаться ли, пока не поздно?

Завела с хозяйкой отеля разговор об охоте. Думала, что она заохает и станет меня отговаривать, скажет: «У вас сегодня такой усталый вид. К чему рисковать?»

А она застрекотала: «Да, да, это очень интересно, это чудесно!»

Вот ведьма! Эгоистка!

В два часа ночи постучали.

Ночь теплая, душная, а я дрожу. Чуть-чуть задремала, одетая. Привиделся кабан, будто он намылил себе щеки и хочет бриться. К добру ли сон-то этот?

Надела на пояс кожаную сумку с необходимыми для охоты припасами — шоколад, пудра и губная помада.

Антонио и Дор уже на дороге — две тени: темная и белая. Сомнительно, чтобы этот пляжный вид подходил к охоте.

Антонио несет мое ружье. Идем в деревню.

Темно, жутковато. Я делаю вид, что я бывалый молодец, и, посвистывая, шагаю впереди. Ночь душная, густозвездная, горы подошли близко, столпились все около дороги. До деревни один километр, и там ждет меня осёл. Стараюсь о нем не думать.

Тихо на улице. Темно. Только одно окошко светится. И около него темные тени, тихий говор. Это наши охотники. Их оказалось целых пять. И к чему так много? Это еще страшнее.

— Фppp!

И ослы здесь. Как они тихо стоят! Все такое злое.

Подошли ближе. Ослов шесть, а нас восемь человек. Я спасена!

— Я пойду пешком. Я очень люблю ходить пешком.

— Это невозможно, — спокойно говорит главный охотник.

Он в широкополой шляпе, за спиной дуло ружья, у пояса что-то блестит. С ним не поспоришь.

— Больше километра вы не пройдете, потому что мы свернем в горы, где придется карабкаться по камням впотьмах. Влезайте на осла.

¹ Господин Зябликов! (фр.)

² Дорогой Зябликов! (фр.)

³ Элегантный покрой (фр.).

Его ведут ко мне, этот живой эшафот. Он упирается, меня ведут к нему. Я тоже упираюсь. Мы не хотим друг друга, но злые люди соединяют нашу судьбу.

— Гоп!

Господи, Господи! Начинается. Вот оно, самое-то ужасное!

Седла нет. Вдоль ослиной спины три соединенные между собой планки, над шеей рогатка для крепления вьюков. Ни луки, ни стремян... Куда девать ноги? Антонио советует подобрать их и упереть в продольную планку, а за рогатку держаться. Вот ужас! Хорошо, что темно. Благословенна тьма, и радостен мне сумрак! Напоминает мне все это что-то, но что — не могу вспомнить.

Осёл зашевелился.

— Дор! Дор! На помощь! Бандиты уморят меня!

Небо темное, кружатся звёзды. Прозрачной зеленью, ледяным хризопразом сквозит восток. А на черной, чернее неба, горе пылает костром утренняя звезда, обманная заря — Люцифер.

Перед моими глазами сказочный силуэт бандита. Широкая шляпа, ружье, вьюки, долбленая тыква с водой.

Торопливо, но осторожно, несет его усердный ослик. Впереди, подальше, чуть мрежет, поблескивая металлом, другой такой же силуэт. Шорох камней, тихие голоса. Отчего так тихо говорят? Разбудить здесь некого. Кабана бояться спугнуть? До него еще около двенадцати километров.

Тихо. Только когда чей-нибудь осёл споткнется, и камни, шелкая, полетят куда-то вниз, громкий и словно испуганный окрик: «охэйо-о!» прорвет шепот ночи.

Куда летят камни? Неужели тут рядом обрыв?

Осёл подо мной, как ладья в бурю, то взмывает вверх, то вдруг проваливается, и торчат из бездны длинные острые уши, и я сползаю к нему на шею до самой рогатки. Руки ноют, ноги свело, в сердце тоска и страх. Господи, Господи! А ведь это еще только начало.

— Дор, вы идете или едете?

— Иду-у.

— Отчего-о?

— Осла жаль.

Вот все мы такие! Осла жаль, а кабана прикончить и не задумаемся. Измотал меня осёл насмерть.

— Тпру!

Я даже не сказала, а, вернее, подумала это слово, а он уже остановился. Умница осёл, красавец осёл. Кубарем на землю. Раз Дор идет, так чего же тут. Я тоже охотник.

— Нужно ноги размять.

Бандиты ничего, не рассердились.

Один пошел около меня, поддерживает, когда я спотыкаюсь, и (откровенно говоря) подымает, когда валюсь.

Светает, голубеет. Справа, действительно, оказался обрыв, и синим дымом курится за острыми скалами море — глубоко-глубоко внизу.

А мы всё поднимаемся.

Думаю о кабана. Он, наверное, спит в своих корсиканских «маки». Один и ничего не подозревает. А тут восемь человек с ружьями, ночью подкрадываются, говорят шепотом. Он, конечно, подлец, этот кабан, он портит огороды, но и наша роль не из красивых — какие-то убийцы по призванию.

Вдруг все остановились, сбились в кучу, совещаются. Какие они все маленькие, щупленькие, эти корсиканцы. Дор около них кажется гигантом в белых штанах.

Разглядела четырех собак, привязанных попарно к седлу главного охотника. И еще какая-то маленькая собачонка, на которую я спотыкаюсь.

Бандиты наши о чем-то совещаются.

— Садитесь скорее, — говорит мне главный. — Надо торопиться.

Усаживает меня так спокойно и властно:

— Гоп!

Точно я не дама, а ученый кот.

И вот я снова на осле. Теперь, когда светает, я вижу свою клетчатую юбку, как она торчит веером на высоко согнутых коленях. Что же это такое мне напоминает?

Главный бандит вскочил на осла, как-то быстро, по-разбойничьи, повернул его, свистнул на собак и поскакал куда-то вбок. За ним двинулся еще один и побежал пеший.

— Он поставит посты, — объяснил мне Антонио Франческо.

Значит, кабан уже близко. Господи, Господи, что-то будет!

Дорога ужасна. Узенькая тропинка, вся заваленная камнями. С двух сторон колючие кусты рвут ноги, свистят по моей клетчатой юбке. Ее-то ничем не проймешь, а чулки разодраны в клочья. Осёл прыгает с камня на камень, я все выше подбираю ноги, уцепилась руками за рогатку, мотаюсь, сползаю... Вспомнила — какой ужас! В такой самой юбке, в такой самой позе скакала в цирке обезьяна на пуделе!

Скоро взойдет солнце. Уже светло. Маленькая собачка плетется под ногами осла и подвизгивает. Это она плачет, что главный охотник не взял ее вместе с важными собаками. Обидно.

Вдруг она залаяла, затыкала и побежала в кусты.

— Кабан?

Один из охотников бросился за ней и быстро вернулся со смехом, качая в руке серый комок.

— Еж! Моя жена его вечером зажарит.

Он туго перевязал лапки ежа. Этот охотник самый неприятный. Большой, костистый, рыжий, похож на Горького. Будет жарить ежа.